

ОУИ НБ МГУ №1853

Об отчислении с журфака, выставках русского авангарда в МГУ, Сергее Параджанове и знакомстве с Владимиром Высоцким

<http://oralhistory.ru/talks/orh-1853>

6 марта 2015

Собеседник

Григорьянц Сергей Иванович

Ведущий

Григораш Алена Владимировна

Дата записи

Беседа записана 6 марта 2015 и опубликована 21 июня 2016.

Введение

Во второй беседе с коллекционером, публицистом и правозащитником Сергеем Григорьянцем продолжается разговор о московских коллекционерах и удивительной коллекции самого Григорьянца. Он рассказывает, как, живя в Риге, начал пополнять свою коллекцию, упоминает о том, как в начале 1960-х годов в СССР стал пробуждаться интерес к произведениям русского авангарда.

Важным этапом в формировании будущего диссидента стали поступление на факультет журналистики МГУ (почти случайное, как признается Григорьянц), организация им выставок русского авангарда и «вечеров забытых поэтов» и последующее отчисление из Университета. После этого Григорьянц переезжает в Киев, где много общается с кинорежиссером Сергеем Параджановым, известным своей экстравагантностью. Любопытен рассказ об отношениях между Параджановым и матерью Григорьянца, которой режиссер «Теней забытых предков» — то ли в шутку, то ли всерьез — предлагал выйти за него замуж. Он же познакомил Григорьянца с Владимиром Высоцким, который своим криком и неестественно белым лицом произвел на нашего собеседника скорее неприятное впечатление.

Алена Владимировна Григораш: Здравствуйте. Сегодня 6 марта, и мы в гостях у Сергея Ивановича Григорьянца. И мы продолжаем беседу о коллекционировании. В прошлый раз мы остановились на выставке, организованной Рубинштейном, и мы говорили о каталоге, который был издан к выставке. Сергей Иванович, расскажите, почему было так трудно издать этот каталог в Москве? Почему Рубинштейн издал его где-то в Подмоскovie или в каком-то одном из провинциальных городов? И вообще насколько трудно было тогда организовывать подобные выставки? И почему?

Сергей Иванович Григорьянц: В это время искусство русского авангарда было, как вы знаете, бесспорным проявлением буржуазной пропаганды и попыткой разложения советской социалистической нравственности и разложением искусства социалистического реализма. Вообще, враждебным в высшей степени. И никакие произведения художников русского авангарда сначала до, скажем, 56-го года не выставлялись в музеях вообще. А потом... Во-первых, восстановили, слава богу, Музей изобразительных искусств, в котором до этого был Музей подарков Сталину. И там самым осторожным образом все-таки повесили несколько ранних вещей Пикассо, несколько пейзажей Марке и Писсарро. В общем, это «отвратительное и чудовищное буржуазное искусство» в России появилось. И плюс к этому в Третьяковской галерее повесили несколько первых картин.

А.Г.: А что это были за картины, вы помните?

С.Г.: Да, это был... была, вероятно, лучшая вещь Кончаловского «Портрет Жоржа Якулова», и это была пара вещей Штеренберга: «Аниська», по-моему, эта девочка у стола...



Петр Кончаловский. Портрет Жоржа Якулова. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Общественное достояние, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17421777>

А.Г.: Да, да, совершенно верно!

С.Г.: ...и натюрморт с селедкой. По-моему, других вещей в экспозиции не было, и других художников тоже не было. С 62-го года начали устраивать выставки в Музее Маяковского (поскольку Маяковский был, как известно, «лучший и талантливейший поэт нашей эпохи», как написал Сталин на письме Лиле Брик) под предлогом [того], что это художники-иллюстраторы Маяковского, на 2–3 дня Николаю Ивановичу [Харджиеву] удавалось делать эти выставки... О которых знали только, в общем, люди знакомые — там было несколько десятков человек. Но тем не менее, это была впервые возможность увидеть эти вещи. На первой выставке были вещи Чекрыгина и Льва Федоровича Жегина, поскольку именно они были иллюстраторами первой книги Маяковского «Я». А потом пошли еще и другие художники. Причем Николаю Ивановичу удавалось... Если для первой выставки он просто в основном экспонировал вещи, уцелевшие у Льва Федоровича Жегина и Чекрыгина, его собственные, то дальше Николаю Ивановичу удавалось получать вещи из Третьяковки. Любопытно, что вещей из своей коллекции он при этом не показал. Из осторожности. Через несколько лет, году в 65-м начал проводить выставки — русского искусства XX века и авангардного Илья Самуилович Рубинштейн*.

* Здесь и далее оговорка — Яков Евсеевич Рубинштейн.

У него, в отличие от Николая Ивановича, который был просто дружен с Лилей Брик — Музей Маяковского в это время был просто домом Бриков на Таганке, была своя выставочная база. Его племянником, по-моему, был такой физик Рубин, который был консультантом у Капицы. И он договорился с Капицей. И выставки, которые устраивал Рубинштейн, проводились в институте Капицы, в так называемом «капишнике» около Калужской площади. И, к сожалению, эти выставки тоже, хотя там оказывалось гораздо больше места, оказывались закрытыми, потому что вход в институт был, естественно, закрытый.

” На открытие могли прийти 30—40 приглашенных людей, как и в Музей Маяковского. Все остальное время вещи висели в коридорах института, это было доступно только сотрудникам института.

А.Г.: А у меня такой глупый вопрос: они были как-то специально освещены или хотя бы подписаны? Или просто висели безымянные работы, и только зная куратора этой выставки, говоря нынешними модными словами, и имея каталог на руках, можно было понять, какая вещь какому художнику принадлежит?

С.Г.: Во-первых, начнем с того, что никакого каталога не было. Во-вторых... нет, вещи, конечно, это были, как правило, совершенно определенных художников. [Яков Евсеевич] был одним из первых коллекционеров русского авангарда. Нас тогда всего было человек семь в России. У него была большая коллекция, где были в том числе и вполне замечательные вещи. Но кроме вещей из своей коллекции, он устроил несколько специализированных выставок. Скажем, была большая выставка работ Александра Шевченко, которые он получил в семье Шевченко. Была большая выставка автопортретов русских художников, где, с одной стороны, висела эта известная акварель, которая сейчас в Третьяковской галерее, где Федотов среди офицеров. Это была единственная ранняя вещь, а все остальные вещи были частью из коллекции [Якова Евсеевича]: у него был известный автопортрет Юрия Анненкова, еще несколько... И очень много графических работ. Плюс к этому он собирал в домах у художников, скажем, у дочери Веры Пестель, у Софьи, он попросил автопортрет Веры Пестель. Ну, и так далее. Кстати говоря, и к выставкам авангарда он тоже просил часто вещи. Скажем, у Николая Ивановича Харджиева он попросил маленький этюд к «Голубым крышам». И в конце концов... Вы хотите очень откровенный рассказ или... деликатный?

А.Г.: Нет, я хочу правду.

С.Г.: Скажем, эти «Крыши» Розановой года через два ему удалось все-таки купить у Николая Ивановича или как-то выманить, потому что Николай Иванович ему продавать не хотел. Вообще, никому, кроме меня

и Костаки, он не продавал вещей. Ну, изредка, в Музей Маяковского, скажем, или в Литературный музей и тщательно это скрывал. А Рубинштейн, скажем, пытался не вернуть автопортрет Пестель, и дочь буквально силой его... приехала неожиданно и насильно забрала. Считал, что дочь Шевченко должна подарить все вещи Шевченко ему, поскольку он устроил выставку. Но она тоже на это не согласилась, в конце концов, подарила ему за выставку одну вещь. Но были уже другие времена...

А.Г.: Николай Иванович же ведь тоже поступал порой так же.

С.Г.: Ну, с Николаем Ивановичем — это совсем сложный разговор, отдельный.

А.Г.: Хорошо.

С.Г.: Вы, если вы захотите задавать вопросы, я, с одной стороны, это написал, с другой стороны, могу повторить. Вообще я хочу сказать, что я повторяюсь довольно часто. Не от забывчивости, не потому, что я не помню, что я уже написал или что я кому-то сказал. Просто, к сожалению, по характеру моей собственной биографии я никогда не знаю, что уцелеет, и считаю, что если повторить три раза, то, может быть, один раз где-то это и останется.



Россия не самая подходящая страна для того, чтобы в ней что-то уцеливало. Да и у меня довольно грустный личный опыт.

Жизнь в Риге

А.Г.: А можно поговорить об этом личном опыте?

С.Г.: Нет, это нет. Давайте мы тогда закончим вопрос о выставках.

А.Г.: Да.

С.Г.: И наконец, довольно быстро после одной из выставок Николая Ивановича 68-го года и я устроил выставку в Московском университете. У меня уже после вечеров забытой поэзии с точки зрения властей и КГБ, всяких других безобразий уже перевели на заочное, я скорее числился на факультете, чем был. Но дело в том, что не выгоняли мою жену, а мы с ней были на одном курсе. И она продолжала жить в высотном доме, а на самом деле продолжал довольно часто жить там и я.

А.Г.: А вы прямо на ее этажах устроили выставку, нет?

С.Г.: Я сейчас не помню точно, на каких этажах. Там дело в том, что этажи распределялись по факультетам. Были какие-то этажи, два этажа, занятые юридическим факультетом, — туда никто не ходил, потому что это были в основном милиционеры провинциальные. Были этажи философского факультета. Был и этаж факультета журналистики, который был самым маленьким. Тогда на факультете журналистики, на нашем курсе, я думаю, было не больше 120 человек. Это он стал гигантским, когда переехал в новое здание, а в мое-то время он помещался в старом здании, где...

А.Г.: 1-й гум?

С.Г.: Да нет, какой 1-й гум, это здание на Моховой, первое здание, то есть не первое — главное здание Университета, где в левом флигеле на втором этаже был факультет журналистики, на третьем-четвертом филологический факультет.



Да я и поступил на факультет журналистики случайно, только потому, что на филфаке у меня отказались принять документы. Я спустился на этаж ниже, и там они не возражали. Я кое-как сдал экзамены и уехал к маме в Киев.

И вдруг совершенно неожиданно для самого себя получил приглашение приступать к занятиям. Я к этому времени печатался, надо сказать, в отличие от не только студентов, но и преподавателей нашего факультета.

А.Г.: В журнале «Юность»?

С.Г.: Нет, в журнале «Юность» я начал работать, уже когда меня перевели на заочное, то есть начали выгонять с факультета. А в это время я... Поскольку до этого времени я жил в Риге, там была такая газета «Советская молодежь», которую редактировал Леша Солоницын, родственник Солоницына, в какой-то степени наш приятель. Я там писал какую-то гигантскую статью о выставке Юона, по-моему. Потом на массе страниц в «В мире книг» к юбилею Ольги Кобылянской. И может быть, в этом году я уже начал печататься в «Литературной энциклопедии». Кроме того, я не был, по сути дела, комсомольцем, поскольку, закончив школу, не забрал комсомольский билет, не забрал карточку учетную из райкома комсомола. Но Леша Солоницын, которому нужны были бирочки, мою статью в этой самой «Молодежи Латвии»* приписал внештатн[ому] сотрудник[у]... внештатный... как это...

* Оговорка: «Советская молодежь».

А.Г.: Корреспондент?

С.Г.: Нет, внештатный... внештатный... инструктор райкома комсомола.

А.Г.: Простите, а для чего нужны были бирки, что это такое?

С.Г.: Они ему нужны были для отчетности, что он печатает активных комсомольцев. И он меня спросил: «Ну, ты не будешь против, если я подпишу?». Я сказал: «Да пожалуйста, господи!» Тем более, что это был 61–62-й год... Несмотря на то, что в семье у меня все математики в трех-четыре поколениях и вообще такая традиция, я вырос в Киевском политехническом институте, я иначе не думал, но когда я начал всерьез заниматься... перевелся в Рижский институт гражданского воздушного флота, я вдруг увидел, что это мне безумно скучно. И хотя я получал там повышенную стипендию первые полгода и еще что-то такое, но на занятия я перестал ходить. А поскольку был очень «умный» человек, то я решил, что нет, пусть меня исключат за неуспеваемость. Мне казалось, что мне легче будет объяснить маме и бабушке: ну, всех выгоняют... В общем, так или иначе, я какие-то свои, не семейные, а свои вещи для коллекции получил в подарок и купил как раз в Риге еще, в 62-м году.

А.Г.: А у кого?

С.Г.: Ну... Это было по-разному. Иногда это было в, в общем, очень неплохом антикварном магазине, который был в Риге. У меня была такая большая цветная гравюра в роскошной раме такого известного художника русской эмиграции Алексеева, который одно время, по-видимому, жил в Риге. Еще какие-то вещи. Чтобы помочь своему приятелю Артуру Никитину, который потом писал мой портрет, но уже гораздо позже, в большом количестве, я какие-то гравюры купил у него, за которые его выгоняли из латышской Академии художеств. У кого-то из поздних таких символистов круга Волошина купил пару вещей. В общем, у меня появился какой-то интерес и, главное, я постоянно ходил в очень неплохой рижский музей, где по тем временам висело 10 или 20 вещей Рериха, потому что когда-то в Риге был музей Рериха. Музей закрыли, но все-таки некоторые вещи экспонировались в большом музее.



И плюс к этому, это я понял гораздо позже, но в Латвии вообще была очень хорошая художественная школа. Все-таки из Риги, шутки шутками, такие бесспорно признанные художники русского авангарда, как Древин, как Луцис, как скульптор Залькалн, который был на первых выставках «Бубнового валета», кубизм такой.

И больше того, это было признано в мире. Где-то в начале 30-х годов, чем латыши подспудно гордились, по-моему, в Бельгии была Всемирная художественная выставка и такой старый художник Тильберг, народный художник, мне рассказывал, что французы, конечно, были вне всяких сравнений, и их вещи не оценивались в сравнении с экспозициями других европейских стран, но именно экспозиция Латвии, латышских художников заняла на выставке первое место. То есть это был хороший музей по тем, советским временам.

Я еще к тому же постоянно сидел в библиотеках, и библиотеки тоже были не вполне стандартными. Я довольно быстро... Опять-таки, поскольку все-таки Рига была довольно свободным городом, одна из моих приятельниц, в отличие от меня, действительно была инструктором райкома комсомола, и была вполне симпатичной девочкой 20 лет (Рига была таким маленьким Парижем, а не Россией уж точно, где часами можно было сидеть в кафе... На самом деле это была атмосфера этих потом дошедших и до Советского Союза французских фильмов «новой волны», в общем, как-то можно было посмотреть фильмы Вайды, еще что-то такое)... А я начал читать лекции, обнаглев совершенно, по путевкам райкома комсомола. И меня довольно быстро воткнули в это Общество по распространению знаний — по-моему, я был его членом с 21 года. И читал лекции о Есенине, что было по тем временам совершенно все-таки революционно, о Цветаевой. У меня-то были и «Разлука», и какие-то ленинградские книги и ранние, но в это время уже и вышла в Советском Союзе книжка с предисловием Орлова. И в этом смысле самая замечательная лекция моя... Ну, куда, там, выпишут мне направление, туда я и шел, при этом ходил я в разные места. Но однажды мне выписали направление — я с некоторым недоумением туда пошел — в 1-ю городскую тюрьму рижскую. Оказалось, что, тем не менее, это все-таки не для заключенных, а для охранников. И в этом темном, мрачном, довольно тяжелом зале довольно ошеломленным этим охранникам я читал:

Ох, и нрав у меня спокойный,

Ох, и очи мои ясны.

Отпусти-ка меня, конвойный,

Прогуляться до той сосны...

(*Смеется.*) А потом, правда, не на лекции о Цветаевой, а на лекции о Есенине, а я считал себя очень умным, читал какие-то в библиотеке книжки 20-х годов, воспоминания Мариенгофа, Шершеневича — много чего. У меня была книга Волконского с воспоминаниями о Цветаевой. В Риге, в общем, были частью в магазинах, частью у знакомых книги эмиграции. Частью рижских, пражских и берлинских же изданий довоенных, а частью попавших туда из Парижа и уцелевших. Ну, и, как полагалось, там, после десятка моих лекций, конечно, оплачиваемых к тому же (я жил за счет этого, кроме денег, которые мне присылала мама из Киева) мне прислали доцента рижского института русской литературы как рецензента, очень симпатичную даму, которая послушала мою лекцию о Есенине. Сама мне ничего не сказала, но этой моей приятельнице... Она должна была написать отзыв. Она сказала: «Ну, он, конечно, человек молодой и знает не очень много, но стихи очень красиво читает». Господи, ну мне был 21 год, ну! (*Смеется.*)

Учеба на журфаке МГУ

Я думаю, что по всем этим причинам меня приняли на факультет журналистики. И даже сделали старостой на первые полгода. Но довольно быстро поняли, что ошиблись, потому что я начал проводить вечера забытой поэзии, расстрелянных поэтов и масса была там всяких...

А.Г.: Не смог вовремя остановиться, что называется.

С.Г.: Да я и не хотел. Что значит «не смог»? Я и не собирался останавливаться, просто когда меня практически выкинули, так оно и произошло. Причем это было очень смешно, потому что у меня были родственники за границей. Довольно быстро, поскольку я начал печатать что-то о Белом, о Ремизове, я установил какие-то контакты с Кодрянской, которая просто хорошо знала моего двоюродного деда Санина. Она начала не просто присылать мне книги из-за границы, сравнительно проходимые тогда. Скажем, романы Набокова по почте проходили. Но, что уже было [слишком] для коммунистического факультета журналистики, который готовит воспитателей советских людей, — она меня еще подписала на русскую эмигрантскую газету, которая тоже аккуратно приходила каждую неделю, «Русские новости» (*смеется*).

А.Г.: А кстати, о чем там писали?

С.Г.: Ну, это была, в общем, все-таки газета... Это были действительно бывшие «Русские ведомости» Милюкова*, но которые купил после его смерти такой в общем просоветский агент Ступницкий**. И газета эта была все-таки ориентированная на Советский Союз. Но тем не менее, это была газета для Парижа! И писали-то там все-таки русские эмигранты. Там, например, постоянно были воспоминания Шайкевича о «Русских балетных сезонах» и его рецензии на балеты Лифаря и так далее. Там были воспоминания Михаила Ларионова. Там никакой особенной антисоветской политики — этого не было, но то, что такая газета вообще приходила на факультет журналистики, — смириться с этим, конечно, было совершенно невозможно! А плюс к этому, по-моему, в 64-м году нескольких советских писателей пустили за границу: Виктора Платоновича Некрасова, Константина Георгиевича Паустовского, еще, может пару человек. Так Кодрянская мало того что прислала мне с ним книжки, мало того что звала меня с женой в Париж — она считала, что так можно съездить: «А я вас повезу в Ниццу».

* Оговорка: Павел Николаевич Милюков был главным редактором выходившей в Париже с 1920 по 1940 г. влиятельной газеты русской эмиграции «Последние новости».

** Арсений Федорович Ступницкий — сотрудник газеты «Последние новости». С 1945 по 1970 г. в Париже издавал газету «Русские новости», которую рассматривал как продолжение «Последних новостей».

” Но Паустовский приехал в Университет с дочерью, секретарем, на черной новенькой «Волге» и через боковую проходную начал меня вызывать. Чтобы меня где-то нашли, как-то вызвали.

Меня действительно вызвали. Он мне рассказал, что мечтает написать книжку о Добычине, еще что-то такое. Мы с ним очень мило поговорили... Все мне передал. Но когда меня принудительным образом переводили на заочное, замдекана Элеонора Анатольевна Лазаревич мне злобно сказала: «К вам даже в университет ездят иностранцы!» Я говорю: «Какие иностранцы?» — «Ну как, у вас неделю назад... к вам кто-то приезжал». Я говорю: «Да нет! Этого „иностранца“ в этом году выдвинули на Ленинскую премию — это Константин Георгиевич Паустовский!» Но это ничего не меняло. В общем, я веселился больше всех. (*Смеется*.)

Выставка в МГУ

А в 68-м году решил устроить выставку, просто потому, что перед этим так же в одной из гостиных была выставка молодого тогда художника Одноралова, довольно симпатичного. Выставка не вызвала никакого особенного интереса, но тем не менее спокойно висела, и для 68-го года (конца 67-го), это было нечто все-

таки любопытное.

Я подговорил нескольких ребят пойти к дирекции (как это называлось? Дома студента. Все общежитие, этот центральный дом назывался «Дом студента», у него была своя дирекция) и попросить разрешения устроить еще одну выставку. И поскольку выставка Одноралова никакого интереса не вызвала и никаких проблем не создала, то — ну что, ну, был Одноралов, ну, будет следующая. Вы же знаете расположение этих двухцветных гостиных: они двумя дверьми и лестницами на антресоли довольно четко делятся на три части. Я первоначально хотел устроить выставку Льва Федоровича Жегина и Татьяны Борисовны Александровой, но было ясно, что разделить на две части эту гостиную неудобно. И тогда я предложил Игорю Николаевичу Попову, который был вторым мужем Татьяны Борисовны, а первым ее мужем был Лев Федорович, который писал в это время поразительной красоты и серьезности композиции с какими-то игральными костями, с решетками петербургской психиатрической больницы, с бумажными чертиками и головами такими — и кровавыми, совершенно гаршинскими цветами. Но Игорь Николаевич, естественно, отказался. И это действительно бы странно выглядело: Татьяна Борисовна с двумя своими мужьями. Все-таки ни у кого из нас иллюзий особенных не было. Я говорю: «Игорь Николаевич, вы же понимаете...» Который никогда в своей жизни не выставялся. У меня висел и сейчас висит до сих пор дивный его натюрморт конца 20-х годов, сделанный еще в Париже... Он, в общем, всю свою жизнь работал, и у него не было ни одной выставки. Татьян[у] Борисовн[у] хоть немножко, в Кабинете графики изредка выставяли. Не говоря уже о том, что она была членом, продолжу, конечно, не «Маковца», но «Пути живописи». Татьяна Борисовна, конечно, была слишком молода, чтобы выставяться в «Маковце», но на выставках «Пути живописи» и в Москве и в Париже она, конечно, выставялась. То есть, в общем, она так или иначе оказалась несравненно более известным художником.



Тем не менее с Игорем Николаевичем не получилось, и я не настаивал, конечно. И Татьяна Борисовна предложила, чтобы третьим экспонентом была Вера Пестель. Это получилось естественное единство. Вера Пестель тоже была членом и «Маковца» и «Пути живописи». И к тому же у нее училась и Татьяна Борисовна Александрова, когда та преподавала в Историческом музее. Но кроме того на нее очень большое влияние оказал Жегин. Оказал настолько значительное влияние, что она, будучи приятельницей и художником, близким к Татлину, со своими кубистическими и беспредметными вещами не просто совершенно отказалась от своих ранних вещей, как это сделал Лев Федорович, но начала совершенно иначе работать. Вполне замечательно при этом. То есть все было вполне естественно.



Интерьер выставки в МГУ. 1967. Архив С. И. Григорьянца

Дочь Пестель знала меня плохо, слегка сомневалась, не пропадут ли вещи. Но, во-первых, в те годы произведения русского авангарда не воровали. Во-вторых, и Татьяна Борисовна, и Лев Федорович — их рекомендации, естественно, для дочери Пестель имели значение. И плюс к этому возможность действительно выставить не одну вещь, как у Рубинштейна, а десятки вещей. Это ведь очень большие гостиные, как вы знаете.

А. Г.: Да, да, там действительно можно было разместить большое количество картин.

С. Г.: Да... А у них еще были и стенды. То есть это было не то, что по стенам, а еще и на поперечных стендах. То есть это действительно была, во-первых, очень большая выставка, во-вторых, это была

длительная выставка — полтора месяца. Ну, и в-третьих, это была открытая выставка, вход в Московский университет был тогда свободный.



Интерьер выставки в МГУ. 1967. Архив С. И. Григорьянца

А. Г.: Это был этаж журналистики, правильно я понимаю?

С. Г.: Я думаю, да. Я сейчас уже неточно помню. Наверное, это были наши этажи, потому что, конечно, и с нашего факультета, я уже даже не помню, кто просил разрешение. Ведь они же не только получали это разрешение, но и устраивали там ежедневные дежурства все эти полтора месяца. Никаких попыток что-то украсть не было, но дежурства, тем не менее, там были.

А. Г.: Ну, чтобы ничего не повредили.

С. Г.: Ну, конечно.



С. А. Бондарин на выставке авангарда в МГУ. 1967. Архив С. И. Григорьянца

А. Г.: А каталога не было?

С. Г.: Каталога не было. У меня где-то в запасах... Тут на днях собираются ко мне прийти дамы из «Мемориала». Я ей сказал, что перебирать фото... Их очень интересовали фотографии, которых у меня тысячи. И они не разобраны, как и весь архив. Я не могу разбирать их. Но я им предложил, что я им дам кассеты видео и аудио, нераспечатанные и неоцифрованные, пускай они хотя бы этим занимаются.

Но несколько фотографий, тем не менее, на выставке этой было сделано. Я помню, что где-то мне попадает периодически в моих завалах фотография с таким замечательным писателем Сергеем Александровичем Бондариним, который тоже очень много лет пробыл на Колыме и с которым мы были дружны, сидящим среди картин. Еще какая-то фотография. Они не самого лучшего качества, но, тем не менее, какие-то следы остались. Ну, задавайте новые вопросы.



Интерьер выставки в МГУ. 1967. Архив С. И. Григорянца

А. Г.: Что было после этого как раз с вашим коллекционированием? То есть, я так понимаю, что вы коллекционировали дальше, правильно? До ареста?

С. Г.: Давайте я завершу тогда рассказ о выставке. Кончилась она месяца через полтора. Мы уже собирались, честно говоря, ее закрывать — ну, сколько можно!



С. И. Григорьянц на выставке авангарда в МГУ. 1967. Архив С. И. Григорьянца

”

Плюс к этому меня встретил — наконец до них что-то дошло! — секретарь парторганизации факультета журналистики и спросил: «Кто вам, Григорьянц, разрешал устраивать выставки формалистических художников?!» Я посмотрел на него и самодовольно сказал: «А вот академику Лазареву нравится».

А.Г.: А он действительно к вам приходил?

С.Г.: Да, конечно. И ему очень нравились вещи Жегина. Как и многие другие, он считал его великим художником. Николай Павлович Пахомов, у которого был другой рисунок из того же цикла, что у меня, «Смерть Арлекина», может быть, чуть-чуть хуже. Все-таки эта «Смерть Арлекина» — это свадебный подарок Льва Федоровича. А как сказала Татьяна Борисовна: «Когда Лев уходил, „Смерть Арлекина“ он забрал». Я ей говорю: «Да я... могу его вам подарить!» (Ну, потом он подарил.) «Нет, теперь мне это не нужно!» Но при этом Лев Федорович забрал и свой рисунок, но оставил на много лет 200 рисунков Чекрыгина, шедевр Ларионова — единственная вещь, которую он попросил у Ларионова подарить — они ему, когда отправлял ларионовские холсты в Париж, во время НЭПа. Так что все это было непросто. В общем, выставку мы действительно закончили.



Лев Жегин. Смерть Арлекина. 1921. artchive.ru

Отчисление из Университета

К этому времени, во-первых, меня выгнали из Университета уже окончательно. Кончал наш курс, [но] поскольку с ребятами курса (притом, что это был факультет журналистики. Господи, они действительно все готовились — ну, почти все, — становиться коммунистическими пропагандистами) водку мы пили вместе, как считает моя жена, которая тоже была с нашего курса, они все-таки боялись каких-нибудь беспорядков и не хотели меня выгонять, пока не кончил наш курс, что кто-нибудь все-таки...

А.Г.: Возмутится.

С.Г.: ...выступит против. Если не все, так самые... И если хотите, я могу показать всякие книжки. Книжка воспоминаний о нашем факультете просто наполовину из моих воспоминаний, а к юбилею Московского университета, к юбилею факультета журналистики — тоже там порядочный кусок, Засурский попросил меня написать. Тем более, что со мной устроили, в общем, такую чистую провокацию. Я был на заочном факультете. Без большого интереса, да еще потеряв на том, что они меня переводили, то ли год, то ли два. Экзамены я не то что вовремя, но сдавал, как и разрешается на заочном факультете. Но в 68-м году, перед началом очередной сессии, когда все остальные защищали дипломы и экзамены выпускные, я должен был сдавать нормальные экзамены. А мы жили рядом с Поповыми, снимали соседний домик в качестве дачи в Троице-Лыково.



Вдруг приезжает жена с факультета и говорит: «А ты знаешь, а там висит приказ о твоём отчислении». За академическую неуспеваемость, как потом выяснилось. А у меня все экзамены были сданы!

Правда, сданы действительно невовремя, с какими-то опозданиями, по «отрывным листкам», но которые я аккуратно отдавал в учебную часть. Но к тому времени, когда появилось это объявление о том, что я отчислен, я вдруг обнаружил, что я несерьёзно к этому отнесся, что у меня нет зачетной книжки, что я то ли потерял зачетную книжку... Ну, потерял, потерял — ну, что! Факультет маленький, я пришел в учебную часть, где эти девицы регулярно просили у меня билеты на вечера Окуджавы или Евтушенко в Дом литераторов или в Политехнический музей. Знали меня на факультете, естественно, все — все-таки до этого заведовал отделом критики в журнале «Юность», не пустяк. А для тех времен вообще неизвестно что.



Для начала, совершенно нагло глядя мне в глаза, эти девицы мне сказали: «А вы не сдавали никаких экзаменов и нам никаких „отрывных листков“ не приносили!»

Поскольку это действительно были не общие ведомости, а всего лишь «отрывные листки», то выбросить их было нетрудно. И к тому же у меня не было зачетной книжки, которую, по-видимому, у меня попросту украли. Но я повторяю, что факультет-то был маленький, преподаватели меня прекрасно знали. Поскольку считалось, что я не сдал шести экзаменов, я обошел этих шестерых преподавателей, одна из которых, между прочим, шутки шутками, была преподаватель литературного редактирования Абрамович, которая в это время была секретарем парторганизации факультета! И, тем не менее, все они написали мне, что я такого-то числа сдал им экзамен и получил такую-то оценку. Я получил эти шесть бумажек. Засурский начал от меня прятаться просто как заяц. Мне все время объясняли, что он уехал, что его и близко нет. А увидеть я его не мог никак. Тогда я пошел к университетскому юристу, который развел руками и сказал: «Ну, это вы уж как-нибудь сами решайте, что мы тут можем сделать. Да, конечно, тем не менее, в общем, все...»

Но на факультетское начальство это произвело некоторое впечатление, и через неделю появился новый приказ о моем отчислении за профессиональную непригодность. Ну, тут я уже совсем разозлился. Я пошел не только в «Литературную энциклопедию», для которой я написал сотню статей, не только в журнал «Юность», где я до этого работал, не только в журнал «Знамя», не только в журнал «Новый мир», где я, и там и там был внутренним рецензентом, по-моему, в «Дружбу народов» и всюду получил бумаги, что я являюсь, это самое, но даже в Комитет по Ленинским премиям, поскольку в это время выдвигали Евгения Александровича Евтушенко на Ленинскую премию за «Братскую ГЭС», а они мне заказали обзор читательских писем. Теперь у меня было уже две кипы: с одной стороны, шесть бумажек о том, что я сдал шесть экзаменов, с другой стороны, о том, что я сотрудничаю, будучи студентом, в шести крупнейших местах... Тем не менее, никого застать я не мог, а время-то шло. И я пошел для начала, без больших результатов на новую квартиру к жене Синявского. Мария Васильевна [Розанова] в это время купила новую квартиру от своих доходов за ювелирные украшения (об этом я отдельно рассказываю в главе о Синявском, которая есть в Интернете, и дай бог уцелеет, из книжки). Андрей Донатович [Синявский] был в лагере. Меня интересовало только одно: естественно, я не знал ни одного адвоката, ни одного юриста и хотел, чтобы этим занялся кто-нибудь. И Мария Васильевна дала мне координаты защищавшего Синявского... Вылетела из головы фамилия*. С которым я тоже познакомился, который мне сказал: «Ну, вы понимаете, такого рода дела не разбираются судами. Но у меня к вам совет: если хотите, попытайтесь обратиться в комиссию Партсовконтроля. Там сидят старики, которые во всем копаются, которые... на которых довольно трудно повлиять, и, может быть, это вам будет полезно».

Я, вероятно, так бы сделал, но в это время в Киеве умерла моя бабушка Елизавета Константиновна. Мне пришлось, естественно, срочно туда ехать... Мне пришлось рассказать маме о том, что со мной происходит в Москве. Но мой дед Сергей Павлович Шенберг — вот многочисленные фотографии, с усами который, — был очень крупный профессор гидравлики и аэродинамики. Он чуть ли не единственный в Политехническом институте, кто не уехал в эмиграцию. Да и то не уехал только потому, что он уже дошел со всеми профессорами и белыми войсками до Одессы, но в Киеве оставалась обожаемая дочь — моя мать, и он вернулся. Он действительно был очень крупный ученый и ученик... то есть не ученик — Жуковский был руководителем его докторской диссертации. И не приехал сначала на защиту, потому что защита была — о чем никто не подумал даже по тем временам — по-моему, на пятый день Троицы.

” **Никто не праздновал Троицу больше трех дней, но Жуковский отстаивал в Троице-Сергиевой лавре всю неделю.**

Кроме того, учениками Сергея Павловича были и будущий академик Тамм, и Делоне, который был у него заведующим лаборатории, которую сначала сделал своими руками мой дед, и потом Королев, и так далее. Он действительно был очень крупным ученым, автором проекта одной из первых в России гидроэлектростанций, по этому знаменитому плану ГОЭРЛО, электрификации всей страны — он делал проект Свирской ГЭС, на реке Свирь. А потом еще какие-то. И кроме того, он успел вовремя умереть — в 36-м году, и поэтому ничего дурного с ним не происходило. Больше того, у нас было очень много родственников в Австрии, и вообще мою матушку воспитывала не русская нянька сначала, а немецкая бонна. И мой дед перевел массу книг немецких авторов на русский язык, он был последний русский профессор, которого со студентами пускали в Германию. Чуть ли даже не после прихода Гитлера к власти, но, по крайней мере, до года 33-го точно. Кто-то из его учеников погиб, но одним из его учеников был Иван Трофимович Швец, в это время президент Академии наук Украины, которому моя мама, — у которой Швец был руководителем диссертации, а его сыновья были ее студентами еще к тому же, — естественно, все рассказала. Иван Трофимович меня к себе пригласил, выслушал. Говорит: «Ну, что, конечно, в Киевский университет я тебя мог бы восстановить, но тебе же это неинтересно, у нас журналистика по-украински. Но ты знаешь, у меня есть приятель, он замминистра высшего образования. Я ему позвоню, а потом ты тоже ему перезвони и поговори с ним».

Я вернулся в Москву, я уже собирался переезжать в Киев, понимая, что ни к чему это не приведет — и жена кончила Университет, меня активно выгоняют, к тому же Засурский написал ей совершенно нелегальное направление в какую-то киевскую «Робитничу газету», где не было свободных мест. И он предупредил, что: «Вы знаете, я знаю, что у вашего мужа семья в Киеве. Вообще мест там нет, но вы сможете официально после... не получать другого распределения». То есть меня явно выгоняли в Киев, но я, тем не менее, все равно вернулся в Москву, потому что и собраться надо было и вообще, все...

Действительно позвонил в Министерство высшего образования. Я забыл его фамилию, Урусов, кажется, до этого он был ректором Университета. Он сказал, пожалуйста, приходите вот тогда-то и тогда-то, тогда-то. Я пришел. Все рассказал. Показал ему шесть бумажек о том, что я сдал все экзамены. Показал ему шесть бумажек о том, что я, в общем, не самый последний студент. (*Смеется.*) Он так похмыкал, похмыкал. Говорит: «Ну, вы знаете, я вообще замминистра по научным вопросам. Я сейчас позвоню начальнику управления высших учебных заведений, и вы придите к ней». (*Смеется.*) Он действительно позвонил. И я ей тоже перезвонил. И она мне охотно сказала: «Да, да, приходите». Это была дама с такой княжеской фамилией, но не Гагарина, но тоже на «Г». И не Голицына... Не могу вспомнить сейчас. Но где-то у меня в воспоминаниях это есть. И она меня тоже выслушала, тоже посмотрела первые шесть бумажек, потом вторые шесть бумажек. Сказала: «Вы знаете, нам надо в этом разобраться. Вы приходите ко мне через неделю». Назначила мне время два часа дня, как сейчас помню, в среду. И пришел к ней в условленное время. А бумажки она оставила у себя для проверки. Постучался. Она сказала: «Да, да» просто. Я вошел. Она указала мне на стул около стола. Она сказала, попросила: «Вы немножко подождите,

я сейчас закончу с делом, которое у меня». Я сказал: «Пожалуйста».

” Прошло минут пять. У нее зазвонил телефонный звонок, она взяла трубку. Я услышал: «Да, да, понимаю, да, да, Григорьянц, да, да, КГБ, да, КГБ, КГБ, да, Григорьянц, да».

Было совершенно очевидно, что это было устроено специально для меня, может быть, для того, чтобы показать, что они ничего не могут сделать. Я очень разозлился, потребовал все свои бумажки назад, сказал, что я пойду в Комиссию партгосконтроля. «Нет, — сказала она. — Они у нас уже подшиты в дело, я вам ничего не верну». И так меня и отправила.

Я приехал к нам на дачу. У меня уже, совершенно очевидно, болел желудок, и начиналась, язва от всех этих замечательных страстей. Никуда уже жена меня не пустила, собирать эти бумажки заново и ходить заново. Совершенно я на это плюнул и благополучно уехал в Киев.

Переезд в Киев. Конфискация коллекции

В Киеве были не только семейные вещи моих прадедов и дедов, случайно уцелевшие, не только семейные портреты, но и какие-то первые картины, которые мне были интересны за эти московские годы. Это был не только Чехонини и Коровин, которые я как-то упоминал, но и две вещи Веры Пестель: одну небольшую мне подарила дочь, а одну я выменял у Галины Викторовны Лабунской. Это уже были частью выменянные у нее, частью у Татьяны Борисовны вещи Жегина, это уже была большая акварель Елены Гуро и дивной красоты масло Ларионова «Кацапская Венера», один из его небольших абсолютных шедевров. С другой стороны, я привез и двух Боровиковских, висящих и сейчас у меня, его «Хлыстовские знамена»...

А.Г.: А расскажите об этой истории. Это же была какая-то совершенно детективная история о том, как с помощью сложных обменов вы в результате получили «Хлыстовские полотна».

С.Г.: Ну, не такая это была на самом деле сложная история, и не хочу я ее вспоминать в подробностях. Для меня было забавно другое... Знаете, коллекционеры об этом редко говорят, но со всеми крупными коллекциями и, в особенности с очень серьезными вещами, всегда бывают связаны какие-то странные, если не мистические истории.

” У Поповых, например, их автопортрет Рембрандта маслом, большой холст такой, сам нашел себе раму. Вдруг им предложили черную голландскую раму XVII века, в точности такого же размера.

У меня истории тоже были разные, связанные с разными вещами, но в том числе с семейными. Скажем, этот овальный портрет моей прабабушки, он на самом деле... То есть даже не прабабушки, а прапрабабушки, вот. На самом деле всегда висел у нас без рамы. И вдруг совершенно неожиданно он сам себе подобрал вот эту вставку, в точности не просто такого же размера, как портрет, но еще и такого же рисунка овала, как портрет.

А.Г.: Просто поразительно!

С.Г.: И сейчас невозможно представить себе. Но с другой стороны, я начал это вспоминать, потому что среди моих чрезвычайно разнообразных родственников, часть которых я вспоминал, тетка моей прабабки Любови Ивановной Булгаковой была хлыстовской богородицей. И это у нас в семье все знали, и это всегда передавалось. На самом деле, хлыстовские вещи очень редкие. И вдруг у меня начали собираться хлыстовские вещи. Сначала портрет хлыстовской богородицы Акулины Ивановны, потом

два эти «хлыстовские знамени», потом еще одна икона, которую, к сожалению, у меня украли. Небольшая хлыстовская иконка, очень странная: там Христос-младенец стоял в крови, которая наполняла чашу для причастия.

А.Г.: Очень странная иконография.

С.Г.: Никогда больше мною не виденная и, по-видимому, специфически хлыстовская. Я не ответил вам на вопрос о том, как они появились...

А.Г.: Да.

С.Г.: Но зато рассказал вам некоторую забавную странность с их появлением именно у меня.

А.Г.: Скажем так, что время пришло.

С.Г.: Ну, вот, не знаю. На самом деле, вещи сами находят себе хозяев.

А.Г.: Да, да, время обладания...

С.Г.: Сами находят, сами выбирают.

А.Г.: У меня тогда в связи с этим такой вопрос: вы упоминали в текстах о том, что была практика хранения работ из вашей семейной коллекции в музеях. Вы можете рассказать об этом поподробнее? Насколько давно такая практика существует? И были ли трудности или какие-то особенные истории с данным видом хранения?

С.Г.: Мне очень жаль. Это просто значит, что я написал так бестолково, что все это было совершенно непонятно. На самом деле просто когда стало очевидно, что со мной нельзя договориться, в КГБ решили сфабриковать мне еще и статью о спекуляции кроме распространения антисоветской литературы. Во-первых, она выглядела дискриминирующе, во-вторых, срок был больше, в общем, все было интереснее. Ну, и кое-как сфабриковали. А для этого сочинили некую новацию, в том числе в Уголовный кодекс: самое важное обвинение было «в спекулятивном обмене рисунков Богомазова на магнитофон „Браун“». Это уж бог бы с ним, но это позволило конфисковать коллекции. Причем, поскольку меня уговаривали...

А.Г.: Которые остались в Киеве, правильно?

С.Г.: Нет, коллекции у нас были в разных домах, в разных семейных домах. Во-первых, я жил к этому времени уже в Москве, и у меня была квартира в Москве. Часть вещей была в квартире моей мамы в Киеве. Еще было у нескольких наших родственников к тому же.

А.Г.: И они прошлись по всем?

С.Г.: Нет, они прошлись только у меня и у мамы. Со мной это было все более менее отвратительно, потому что эти люди, которые занимались конфискацией... Мама приехала — я арестован, жена с моим маленьким сыном, беременная и так далее, — в Москву помогать.

” И они не просто вывозили вещи при ней, они еще между собой делили: вот этот резной шкаф с Аполлоном и Венерой я возьму себе — моего прадеда! — а вот это гигантское золоченное зеркало прабабки моей, еще из Вены — вот это будет тебе.

Я уже не говорю о том, что они забрали всю библиотеку, что по закону они не имели права, потому что и для меня и для жены это орудие производства, которое не конфискуется по Уголовному кодексу. И жена действительно подала жалобу, и, больше того, был очень приличный судья в Бабушкинском суде — да и вообще, ко мне очень хорошо относились, и всем всё было очевидно, — и он тут же удовлетворил ее жалобу о возврате книг.



Но они за три дня всю библиотеку продали по рублю, в том числе с автографами Ахматовой, Ремизова и так далее.

А.Г.: А какая была самая древняя книга в вашей библиотеке?

С.Г.: Я не знаю, я думаю, что это была одна из русских старопечатных книг, точнее, украинских, Петра Могилы... XVII века, начала. Действительно очень редкая книга! Ну, много было...

А.Г.: Проданная по рублю.

С.Г.: Да, конечно. Но кроме этого, во-первых, они пять лет меня уговаривали сотрудничать: и в лагерь приезжали, и в тюрьмах, и на мою мать давили, и запугивали ее и чуть ли не угрожали сбросить в метро под поезд. В общем, чего только не было. Но, в частности, еще подманивали тем, что они все пять лет не забирали картин из квартиры моей матери, хотя они все считали моей коллекцией. И уже после моего освобождения, когда выяснилось, что ни за 5 лет, ни после этого договориться со мной нельзя, им пришлось устроить отдельный суд в Киеве уже. И несмотря на то, что киевские профессора говорили, что эти картины они видели еще в кабинете моего деда задолго до моего рождения и что... и так далее, и так далее — все это не имело никакого значения. Тем не менее, они забрали картины и у моей матери, а после чего распределили по десятку музеев Советского Союза.

А.Г.: А вы можете их назвать?

С.Г.: В Москве это Третьяковская галерея, это Останкино, Музей истории Москвы, это Тропининский музей. Самая странная история, единственная, которая мне до сих пор не понятна, была с Музеем изобразительных искусств, потому что у нас в семье традиционно была не очень большая, но тем не менее хорошая коллекция старых мастеров. То есть даже когда немецкий командующий киевским округом поселился в квартире моего деда — это была директорская квартира в институте, где до этого жил Менделеев и Любовь Дмитриевна Блок (он тоже был директором института некоторое время) — он нашел не уехавшую в эвакуацию приятельницу моей матери Нину Алексеевну Ступину, кстати говоря, потомка художника знаменитого арзамасского Ступина, попросил забрать все вещи кроме двух голландцев из кабинета моего деда и двух музыкальных шкатулок, которые играли «Mein lieber Augustin».

А.Г.: А они были из Австрии, из Вены, нет?

С.Г.: Да, моя прабабка была из Вены. И у них поместья были где-то в районе Ужгорода, в Австро-Венгрии. Вот печатка брата моего прадеда, вот эта сердоликовая, большая.

Таким образом вещи из нашей коллекции были в десятке музеев... Да, тут я не договорил...

А.Г.: Да.

С.Г.: В Музее изобразительных искусств... Описывало вещи в моей московской квартире несколько человек, среди которых была и ныне работающая в Музее изобразительных искусств Виктория Эммануиловна Маркова, которая довольно странным образом это описала. Не поняла, скажем, что «Собака» это — вот, большая у меня, — картина Стаббса, а не Сверчкова, еще чего-то не поняла. Но главное — только вещи старых мастеров все пропали. Когда, через очень много лет уже, в начале двухтысячных годов, было судебное решение о розыске и возврате вещей, ни одну из вещей, описанных Марковой не нашли. А там были хорошие... Там было три хороших натюрморта, там был гигантский с кораблями «Генуэзский пейзаж» начала XVIII века... В общем, довольно много действительно хороших вещей.

А.Г.: А сколько пропало, количество?

С.Г.: Не знаю, не помню уже. Но там были итальянские рисунки XVI века из коллекции Бенуа. И было второе решение суда после этого о том, чтобы вещи, которые пропали — это была мебель, тоже

коллекционная, это была библиотека, изрядная часть и других картин, в частности, все вещи старых мастеров.

А.Г.: Наверное, еще какая-то еще ювелирная продукция, нет?

С.Г.: Да, какие-то геммы и камеи, которые так и потерялись.

” Как ответили из Гохрана, «не могут быть найдены среди их мешков». То есть там хотя бы было известно, что они поступили в Гохран.

Был дивный пропавший крест резной, очевидно, русский XVI века с мощами десятка святых, среди которых был и Афанасий и Василий Великий и так далее.

А.Г.: Большой был формат?

С.Г.: Нет, небольшой, но из таких самых ранних редких дорогих русских крестов с тончайшей, тончайшей совершенно резьбой, который попал в Музей Востока, нет, в Институт восточных культур, то есть лазаревский институт бывший. И сотрудник, который расписывался за них, сообщил суду, что «нуждаясь в деньгах, я продал его академику» — и назвал фамилию в это время как раз президента Академии наук.

В общем, это было все замечательно, но, тем не менее, самым неприятным была, конечно, пропажа картин старых мастеров и рисунков, и судом была создана комиссия... Была, конечно, оценка 75-го года, но это уже было начало двухтысячных, это были совсем другие деньги и совсем другие цены. А там, скажем, голландские натюрморты были оценены по 200 рублей. Была создана комиссия, которая ориентировочно по описанию, примерно оценила возможную стоимость этих вещей сейчас. И было вынесено решение о выплате мне компенсации за пропавшие вещи. И самое неприятное во всем этом деле было то, что Виктория Эммануиловна Маркова, которая вошла в комиссию Министерства культуры, которая должна была согласиться или выступить против судебного решения, изо всех сил настаивала на том, чтобы компенсация мне была выплачена по оценкам 75-го года. Чегодаева, которая была с ней знакома 40 лет, после этого перестала с ней здороваться. Вот откуда у Виктории Эммануиловны была такая заинтересованность в этом? Причем, в результате ничего из этого не вышло.

А.Г.: То есть деньги были не выплачены?

С.Г.: Нет, наоборот. На мою сторону встала замминистра, и настойчивые требования Виктории Эммануиловны ни к чему не привели. И мне было выплачено еще около полумиллиона долларов кроме возврата картин из 10 упомянутых московских музеев. Еще был киевский Музей украинского искусства, киевский Музей русского искусства, черниговский музей, львовский музей. Еще два музея, в которые я не поехал, и там так и остались мои вещи: таганрогский и херсонский.

” В общем, в результате то, что вы называете «хранением в музеях» привело к тому, что я оказался единственным в мире человеком, который получил вещи из 10 музеев двух стран. Правда, это тоже было не так легко.

Особенно трудно и забавно было получать — чего просто никогда не было за всю историю Советского Союза и России — компенсацию за украденные вещи. Никому они не платили!

А.Г.: Ну как, коллекции иногда возвращали.

С.Г.: Не коллекции — отдельные вещи. Действительно, когда я пришел в Третьяковскую галерею забирать какую-то икону, еще что-то такое и сказал... Иовлевой, что вы, наверное, никому не возвращали, она сказала: «Ну, что вы! Я помню, как мы возвращали картины Руслановой!» В 56-м году! (Смеется.) По-

видимому, это был единственный случай за всю историю Третьяковской галереи! Так что хранение происходило таким образом. Конечно, во всех музеях что-нибудь пропало.

А.Г.: А они не испортили вещи реставрацией?

С.Г.: Ну, что-то было подпорчено. Одна из икон на стекле была просто разбита в Музее украинского искусства. Рисунки Тропинина и еще что-то такое и акварели и два рисунка Врубеля пропали в Музее русского искусства. Ну, и так далее.

А.Г.: А они хранили эти вещи исключительно в запасниках или все-таки выставляли их в основной экспозиции?

С.Г.: Нет, что-то выставляли: мою скрипку и большую гитару Ермилова они не только выставляли — они еще и включили в свой альбом. Как, впрочем, и Музей украинского искусства включил почти все мои иконы в свои альбомы.

А.Г.: Интересно, а они возили их на какие-то выставки за рубеж?

С.Г.: Я не знаю.

А.Г.: Это очень интересно.

С.Г.: Этого я не знаю. Но так или иначе, это «хранение» выглядело таким образом.

Дружба с Параджановым

А.Г.: Так как мы остановились на истории, географически связанной с Киевом, я хотела бы немного поговорить о вашей дружбе с Параджановым. Вы познакомились с ним в Киеве? И вообще, как выглядело ваше общение, ведь у вас есть что-то и от него в коллекции.

С.Г.: Да, у меня как раз бóльшая часть украинских икон — это от Сергея.

А.Г.: А он снимал их в своих фильмах, да?

С.Г.: Одну из них... одна из них, действительно, вертится просто в «Тенях забытых предков». Ну, это уже было дело оператора, по-видимому, а, может, и Сергея, не знаю.

А.Г.: Когда...

С.Г.: Это как раз очень легко, потому что в 68-м году, когда меня выгнали из Университета, и мне пришлось ехать в Киев, то, соответственно... Но все-таки уже очень много лет не жил в Киеве... У меня уже было не так много знакомых: вот Кодрянская и Сац. Кодрянская просто привезла или купила в «Березке» бутылку коньяка для Виктора Платоновича Некрасова. Мы с ним были знакомы еще и в Москве. Ну, и какие-то знакомые...

А, это была в свою очередь тоже забавная такая история. В это время в Киеве... по-моему, уже умер, буквально за несколько лет до этого необычайно талантливый самодеятельный художник, который был до Революции уланом. У меня был его автопортрет с подписью «Улан Черняховский» — после революции [он работал] трамвайным кондуктором. Вот такой человек по фамилии Черняховский. Кстати говоря, в тех же «Тенях забытых предков» крутятся такие флюгеры, довольно часто вертятся. И это отнюдь не галицийские флюгеры — это как раз флюгеры, которые делал Черняховский. Он писал замечательные, очень точные такие... по своей наполненности [картины]... Он, конечно, никогда не учился, как и [Анри] Руссо, но, может быть, был художником даже более крупным, чем Руссо. Какие-то очень серьезные такие и необычайной красоты картины. Я думаю, что как раз Виктор Платонович мне показал пару этих картин. Это были такие гигантские фанерки, потому что ничего, кроме фанеры-то не было, которыми известная домработница Некрасова Ганя закрывала матрасы, вынесенные на балкон, чтобы они не намокали. Виктор Платонович показал мне эти картины, которые мне очень понравились, и он мне их тут

же подарил. И я думаю, что он сказал, что еще у Параджанова тоже есть вещи...

А.Г.: И как вы к нему пришли?

С.Г.: ...Черняховского. То ли кто-то позвонил... Я не помню, как это произошло. В общем, так или иначе, но приехал к Сергею. У него на кухне действительно висела гигантская картина под названием «Провинция». Это был какой-то хоровод на синем фоне, еще что-то такое.



Это было замечательно красиво и интересно, и он на этой картине записывал телефоны своих знакомых.

Сказал, что другие у него когда-то были, но он кому-то уже раздал. Наверное, так и было. Так или иначе, я с этим от него ушел.

Киев — маленький город, все друг друга знают. И естественно, я начал ругать матом, что он портит картины серьезных художников. После чего, к сожалению, он стер все свои телефоны и прислал с двумя какими-то мальчишками ко мне эту картину. (*Смеются.*) Сейчас эта картина, как и другие вещи Черняховского у одного моего приятеля в Киеве. И он готов был подарить и в Музей Параджанова или в Киеве или в Ереване — никто не хочет брать, никому не интересно. Подлинная вещь из Серезиной кухни. И к тому же замечательного художника. Да еще тогда Черняховский для всей киевской интеллигенции был очень важен. Я собрал, наверное, около десятка его вещей от разных художников, от одного оператора, который увез его картину в Москву и заказал роскошную раму. К сожалению, все так.

И продолжалось наше знакомство. Буквально в 20 шагах от нас жила его бывшая жена Светлана с сыном. Мы жили в Политехническом институте, они — за забором на улице. Наверное, о Сергее рассказывать можно много или мало — это всегда не очень просто, потому что все, что с ним связано, было непросто. Один мой рассказ о нем уже записала дирекция ереванского музея.

А.Г.: А вы рассказали там, как вы покупали у него эти работы?

С.Г.: Нет, этого я ничего не рассказал. А, может, рассказал, я не помню, это было очень давно, это было лет 10 назад. Я им рассказал совершенно другие вещи в основном, которые их больше всего интересовали: вещи, связанные с его арестом.



Дело в том, что... как вам сказать, я довольно долгое время считал, что читать Сергей Иосифович не умеет. Потом оказалось, что он сам написал семь сценариев.

Но это никак не проявлялось в его жизни — ни одной книги у него в доме не было. Он постоянно что-то выдумывал, он постоянно фантазировал, он постоянно создавал вокруг себя артистическую жизнь.

А.Г.: А вы заглядывали к нему на посиделки?

С.Г.: Да, конечно, я довольно часто у него бывал. Он дивно пел с актерами — он же до этого кончил консерваторию. Но я расскажу другую историю: он же ни много ни мало после моего ареста, но своего освобождения пришел (не помню, я путаю фамилию, а может, ее путала и моя мама) с кем-то из очень известных грузинских кинематографистов, режиссеров. Причем, я когда-то назвал фамилию, и человек, который записал мой рассказ сказал: «Нет, в это время его не было, в это время в Киеве был другой». И назвал, кто был. Может быть, Данелия, может быть, и [не] Данелия, кто-то из тех двух-трех грузинских режиссеров этого круга, этой известности. И предложил моей маме, которая была лет на 15 старше его, но по-прежнему дивно хороша, выйти за него замуж.

А.Г.: Поразительный человек!

С.Г.: Он пришел со свидетелями. Это было официально. Но мама на него посмотрела и сказала: «Знаете, Сергей Иосифович, вообще-то у меня были другие планы». *(Смеется.)* Все мое детство ей постоянно предлагали выйти замуж. Она постоянно, постоянно, получала такие предложения. А потом она мне когда-то сказала, что, я считала, что тебе будет хуже, если еще кто-то будет. Наверное, так. Я не знаю, из каких соображений, но она всем отказывала. Был даже человек, который в течение 30 лет приходил раз в 5 лет... с середины 30-х годов, на моей памяти дважды. Он железнодорожник, изобретатель, крупный инженер такой. Ну, неважно...

” А Сергей однажды умудрился — он действительно дивно пел! — и он однажды позвонил маме и по телефону всю ночь пел... не могу сейчас вспомнить, кажется, «Кармен» со всеми партиями и, больше того, со всеми оркестровыми партиями и вступлением...

А.Г.: Но прийти он не мог!

С.Г.: Нет, ему вообще захотелось...

А.Г.: Человек искусства.

С.Г.: Он, понимаете, очень остро чувствовал... как это ни странно, что он был сыном сапожника. Ну, или, по крайней мере, какого-то... А у нас были семейные портреты, мама действительно была не просто, а изысканно хороша до глубокой старости, что стоило, я боюсь, мне, может быть, одного или двух лет лагеря, потому что когда первый раз меня судили, мне не повезло: у меня и судья и прокурор были женщины. И моя матушка относилась к ним с таким нескрываемым презрением, что в моем приговоре страница [была] посвящена ее дурному поведению, влиянию на меня. *(Смеется.)* Хотя этого ничего не было в следствии, во-первых, и во-вторых, вообще для этого не было никаких оснований. В конце концов, мы просто мало общались в эти годы... уже давно.



Сергей Параджанов

Так что у Сережи были... Я маму выругал, когда она мне это рассказала... Меня и до этого — это я уже сидел второй раз — все время выгоняли из Советского Союза. Приходили всякие приглашения от каких-то моих якобы родственников из Израиля. Спокойно доходили по почте. Мою тещу Зою Александровну Кудричеву называли Зоей Абрамовной... Но я никуда уезжать не хотел. На вопросы: «Вам же здесь все не нравится?» (у меня надзор же был: я же каждый месяц должен был являться в милицию в эти промежутки между двумя сроками). «Почему же вы не уезжаете?» — я ответил: «Да мне нельзя сказать, что все не нравится — мне вы не нравитесь. А так все остальное ничего». И потом Лара Богораз мне сказала, что в точности то же самое на ту же самую фразу ответил Толя Марченко, которому тоже сказали, что вы не уезжаете? Но Толя, в отличие от меня, готов был уехать, он просто хотел уехать как политэмигрант во Францию, в Америку, но не делать вид, что он воссоединяется с какими-то семьями в Израиле, что все тогда делали. А я не хотел уезжать вообще. Я об эмиграции знал больше, чем Толя и не считал, что это не нужно. Я периодически переставал разговаривать с Сергеем, потому что, с моей точки зрения, он вел себя совершенно непристойно, а я был человек тогда довольно холодноватый такой.

А.Г.: Но как раз Сергею очень нравилось бывать у вас дома.

С.Г.: В общем, да, нравилось. Да и я у него часто бывал... Я однажды пришел к нему, и он встретил меня в трусах.

”

Я посмотрел и говорю: «Ну, почему вы так себя ведете? Мы не так с вами знакомы...» — «По-моему, у меня прямые ноги, и что мне...» Я повернулся, ушел и после этого месяца два с ним не разговаривал.

Потом встретил Свету, его бывшую жену, в опере, она знала, что мы знакомы, и, по-видимому, Сергей ей сказал, что я перестал с ним разговаривать и вообще общаться. Она мне сказала: «В конце концов, он же такой талантливый, можно ему что-то простить!»

А.Г.: Он такой. А я еще хотела поговорить в связи с лагерной темой о вашей дружбе с Шаламовым. Когда вы с ним познакомились?

С.Г.: Нет, давайте я тогда дорасскажу уже о Сергее, если мы уж начали этот разговор... В конце концов, мы с вами взрослые люди, и я надеюсь, что вы достаточно много знаете о Параджанове. То есть я надеюсь, что мой рассказ не будет вас особенно шокировать. Действительно, все были общие знакомые... Моя мама не могла забыть, как к нам пришел Миша Сенин и стоял в дверях ее комнаты. Это было незадолго до его гибели. Это я уже забегаю вперед.

Однажды Сергей попросил у меня разрешения — ему обязательно почему-то захотелось показать картины Богомазова, у меня их было довольно много, около десятка. Он был действительно талантливый художник, я не могу сказать, что самый великий русский художник, но вполне достойный и серьезный. «Можно я к тебе приведу своего знакомого? Я хочу ему показать». Я говорю: «Ну, пожалуйста». Мы договорились о времени. Он пришел с таким довольно симпатичным молодым человеком. У нас было две комнаты, в это время моей комнатой была сравнительно маленькая, не такая... а вот стол-сороконожка стоял в гостиной у мамы, которая была ее комнатой. Эта большая люстра над ним висела — у нас потолки были существенно выше, это было очень красиво к тому же. Они посмотрели Богомазова у меня в комнате, а потом перешли к маме. Мы сидели за этим столом-сороконожкой. Этот молодой знакомый Сергея почему-то не снимал пальто. В конце концов, мне было все равно: не снимает — не снимает, бог с ним, что мне с ним считаться. Это уже было, по-видимому, за несколько месяцев до ареста Сергея. И то, что я знаю, это уже часть рассказа его и его оператора и близкого друга Сурена Шахбазяна, в части рассказа других тоже наших общих знакомых. В общем, история была примерно такой. И в Киеве не очень понимали ее подоплеку, но на самом деле на Украине сменилась власть, был сначала для вида переведен в Москву, а потом и вовсе уволен первый секретарь ЦК Украины Шелест, который сам считал себя потомком запорожских казаков и вообще как-то к украинским преданиям, к украинским древностям относился с некоторым уважением. А Сергей снял «Тени забытых предков» — в это время это было просто знамя украинской культуры. Хотя были люди, которые относились к нему хуже, в частности, за то, что он растащил иконы в Закарпатье, что ему многие не могли простить.

”

Но тем не менее тогда это еще не имело значения, имело значение то, что собирались и актеры, и музыканты, и операторы. Действительно дивно пели украинские песни, ничего лучшего я в жизни своей больше не слышал никогда!

А.Г.: А записи есть?

С.Г.: Думаю, что нет. Никто записей никаких не делал. А может быть, и делал, но без меня, не знаю. В общем, это был один из таких бесспорных очагов украинской культуры. И плюс к этому, хотя с фильмами Сергея все было достаточно сложно, когда «Тени забытых предков» получили 13, по-моему, золотых медалей, наград, в том числе и каких-то денежных премий, он вместе с ними не получал ничего. На 14-ю, по-моему, в Буэнос-Айрес, его решили послать.

А.Г.: Да, да, да, там была отдельная очень интересная история, про которую рассказывают актеры.

С.Г.: Его решили послать, пусть поедет. Естественно, его пригласил к себе, по-моему, не директор киностудии, не отец Ады, а секретарь парторганизации и сказал: «Вы же понимаете, какая высокая ответственность возлагается на вас! Вы же понимаете, как высоко вы должны нести знамя советского человека... Как мы все рассчитываем и как мы заботимся о вас. Ведь вы же поймите, один авиационный билет в Буэнос-Айрес стоит каких денег! Туда и назад!» На что Сергей посмотрел и сказал: «Ну, ладно, можете купить в одну сторону».

А.Г.: Да, это его известная фраза.

С.Г.: Да, это очень известная история. Но плюс к этому у него на киностудии были свои ученики, молодые режиссеры. И когда ему удавалось устраивать просмотр, скажем, «Тени забытых предков» (тогда это был «Цвет граната») и вообще не вышедших на экран «Киевских фресок», он всегда еще потом показывал фильмы и своих молодых учеников, Зория Балаяна* и... Я забыл второго, на «г»... Гретьюка**? Не могу сейчас вспомнить. Так или иначе Параджанов был очень известной фигурой в Киеве. И однажды Шелест даже пришел со всей своей охраной к нему в квартиру в гости.

* Оговорка: речь идет о Романе Балаяне.

** Вероятно, речь идет об операторе Киевской киностудии им. А. Довженко Ю.Т. Гармаше.

А.Г.: Надеюсь, он пришел не в трусах?

С.Г.: Нет, я надеюсь, что нет, я при этом не был, ничего не могу сказать, но это соответствовало тому положению, которое Сергей занимал в культурной жизни Киева. Но Шелест был снят, началась борьба с украинскими националистами, Щербицкий начал сильные аресты, и Федорчук, председатель КГБ Украины, — украинских деятелей культуры. Был разработан план и относительно Сергея. План был, в общем, не хитрый, но для Сергея достаточный. В театральном институте Карпенко-Карова было еще небольшое кинематографическое отделение, такой маленький как бы украинский ВГИК — одна маленькая группа. И в экзаменах принимал участие Параджанов как один из членов. Придя очередной раз на экзамены, он встретил очень симпатичного спортивного молодого человека, как раз того, которого он привел ко мне и который сидел в пальто...

А.Г.: Не снимая его.

С.Г.: ...у меня за столом. Это выяснилось потом, естественно. Который ему показал замечательный талантливый свой сценарий [и сказал,] что, он хочет поступать на сценарное отделение. А потом сказал Сергею, что он сын очень известного, из старинной такой украинской семьи львовского профессора. Из такой украинской интеллигентской аристократии. А потом еще и прибавил, что у него нет ни одного знакомого в Киеве и ему некуда деться. И Сережа тут же пригласил его переночевать у него. Молодой человек был достаточно спортивный, и, насколько я понимаю ситуацию, на самом деле никаких отношений у Сергея с ним не образовалось, но [он] месяца три жил у него, и Сергей уже не знал, как от него избавиться, потому что довольно быстро выяснилось, что написать такой сценарий он не способен, что его ему написал кто-то другой.

” А потом выяснилось, что у этого знаменитого украинско-польского профессора из Львова действительно есть несколько сыновей, но младшему из них 68 лет.

Как мне говорил Сурен Шахбазян, Сергей просил его: «Ну, забери ты его от меня!» — в смысле, дай пожить у себя. Но Сурен отвечал: «С какой стати и зачем я буду это делать? И зачем он мне нужен?» В конечном итоге выяснилось, что он был сотрудником КГБ, записывал все разговоры Сергея, записывал все его откровения. А Сергей очень любил еще такую торговлю: он очень любил приходить на вещевой рынок и устраивать такой спектакль одного актера, перебирать какие-то вещи, обсуждать. И это с персидск[ими]

его такими волосами. Это было замечательно красиво, другое дело, что, с моей точки зрения, он не понимал абсолютно ничего и не в чем, кроме поразительных глаз, которые у него были, поразительного чутья у него. Когда я говорил, что он не умеет читать — он действительно, с моей точки зрения, был малообразован, но зато с поразительным эстетическим чутьем. Причем он ко мне приводил и других людей. Он приводил Высоцкого, ведь один из сценариев он написал в надежде, что там будет сниматься Марина Влади.

А.Г.: А какое впечатление на вас Высоцкий произвел?

С.Г.: Скорее, неприятное. Он страшно кричал... ну, когда пел. У него было совершенно белое лицо. Наверное, в концерте — я никогда не был на его концерте — это выглядело иначе, но в маленькой квартире у Сергея мне было это просто неприятно: это был этот дикий крик этого человека, с совершенно... не восковым... я даже не могу [найти сравнение]. Ну, как папиросная бумага белая...

А.Г.: Бескровным.

С.Г.: Да. И каким-то совершенно ярко-белым лицом. По-видимому, он уже давно сидел на наркотиках... В общем, я этого не понимал, был настолько от всего этого далек, что не понимал, почему... Во-первых, это не был масштаб квартиры просто, понимаете, а в зале его не видел. Я после этого много лет к нему очень плохо относился, стал гораздо лучше только гораздо позднее.

А.Г.: А вот Сергей, который покупал на рынке...

С.Г.: Да это была абсолютная болтовня. И совершенно это было все и ничтожно бессмысленно. Но этот гэбист, по-видимому, этого тоже не понимал, поэтому первое обвинение, которые было предъявлено Сергею, было обвинение в спекуляции. *(Смеются.)*

Все было бы хорошо, если бы комиссия по оценке все его имущество не оценила в 80 рублей. На самом деле, конечно это было не так. На самом деле у него был (правда, из двух частей) поставец: верхняя от одного, нижняя от другого, но это были... и один и второй хороший поставец XVIII века. На самом деле, просто по поразительным свойствам его глаз у него были или бывали, а потом продавались мне или дарились, уходили вещи безо всякой жалости, появлялись новые и новые. И совершенно все это было для него неважно. На несколько сот рублей набрать это можно было, но сделать из этого дело о спекуляции было невозможно. У меня так хотя бы коллекция была все-таки.

А.Г.: Совсем другого масштаба.

С.Г.: Да. И тогда, используя рассказы Сергея, они обвинили его в гомосексуализме. Меня, по-моему, и в Киеве не было в это время, я приехал что ли через месяц. Шли допросы. Им захотелось поговорить и со мной, хотя никаких оснований для этого не было ни в чем: ни в рассказах, ни в этих показаниях. Я тоже ничего интересного такому маленькому, почти карлику следователю не рассказал. Он был очень разочарован, что ничего не добился. Это было в доме прокуратуры. Это был старый дом с такими широкими площадками, лестницами. И это был верхний этаж, наверное, четвертый. И я стал спускаться по этой лестнице, а он, стоя у решетки лестничной площадки, вслед мне сказал: «Да, я помню, как три недели назад от меня уходил Миша Сенин».

Миша Сенин был такой кумир киевский. Он действительно был очень хорош собой, черноволосый с ярко-голубыми глазами. Он был из испанских детей. Его приемный отец, Сенин, был одно время председателем Совета министров Украины, потом, по-моему, секретарем ЦК, в общем, из такой украинской верхушки абсолютной. Он усыновил ребенка привезенного. Мишу очень любили рисовать. Он был архитектором. На выставках часто были его портреты. В общем, в киевской художественной среде он был свой.



Я не знаю, что рассказал этому поганцу-следователю Миша, но я уже знал, и именно это вызывало ужас у моей матери, которая помнила его, стоявшего у нас в дверях, что, вернувшись, домой он раздал все долги, все книги, вплоть до библиотечных, и в ванне вскрыл себе вены. И умер.

По-видимому, перспектива быть свидетелем на суде у Сергея для него была хуже... Любопытно, что никто, кроме меня этого не рассказывал руководству музея. И они сказали, что всю эту историю они слышат в первый раз, и об этом гебисте и о Мише.

Надо сказать, что [я] ругал свою маму за то, что она отказала Сергею Иосифовичу — в конце концов, шутки шутками и ей действительно было 70 лет, она совершенно не собиралась выходить замуж вообще. Она была очень красивая, но очень пожилая дама. (*Смеется.*) Не говоря уже о том, что я был в тюрьме. Я ей сказал, что, наверное, надо было уехать. Он считал, что, поскольку меня выгоняют, то он с тобой уедет, а ты не дала ему этой возможности. Оказалось, что все это было совсем не так, что его звал Феллини и что он сам не хотел ехать, то есть никакой такой причины не было, как бы очередная его идея. Ну, что еще вы хотите?

О московских коллекционерах

А.Г.: Теперь про Шаламова.

С.Г.: Это совсем не связано с коллекциями, я должен вам сказать.

А.Г.: Хорошо, тогда Шаламова можно опустить, хотя это безумно интересно. В конце концов, если мы говорим о коллекции, то можно же ведь вспоминать не только произведения изобразительного искусства, но и рукописи...

С.Г.: Ну, это когда-нибудь в другой раз...

А.Г.: ...или вещи.

С.Г.: И это не так просто, кстати.

А.Г.: Хорошо. Тогда давайте вернемся к теме коллекционирования. Еще я хотела вас спросить о среде московского коллекционирования московского уже после всех возвращений из арестов. И вы как-то упоминали, насколько я понимаю, о собрании коллекционеров. Что это было за собрание?

С.Г.: Понимаете, с одной стороны, скажем, Рубинштейн, о чем вспоминает Дудаков — это абсолютная правда. Рубинштейн любил, особенно после смерти жены, когда жена появилась другая, и атмосфера стала гораздо более легкой. Я думаю, раньше это было невозможно. У них были красивые стаканы, и [Яков Евсеевич] любил поить чаем, приговаривая при этом: «Хорошо заваривай чай: жена у тебя русская, а чай жидóк». Дудаков, Шустеренок, еще несколько человек у него собирались, рассказывали друг другу всякие истории. Я в этом ни разу не принимал участие, то есть я бывал много раз у Рубинштейна, но в то время, когда была атмосфера другая, и никакого Дудакова там не было.

А.Г.: Но на чай вы не оставались?

С.Г.: Нет, чаем нас поили, но только это было просто совсем... иначе выглядело. Татьяна Борисовна с легкой насмешкой... Это она меня привела. Как она меня водила вообще, нас с женой, по старым коллекционерам московским. А может, Лев Федорович — не помню. Он позвонил просто и посоветовал, что есть коллекция авангарда. С насмешкой говорил: «Он же, по-моему, гордится, что он потомок Митьки Рубинштейна*!» Митька Рубинштейн — это был такой известный в Петербурге... да... чуть ли ее матери, ну,

в общем, кого-то из знакомых. Жена Митьки, прогуливаясь по Невскому проспекту с гордостью показывала на белое ландо и красавицу и говорила: «А это наша любовница!»

* Дмитрий Леонович Рубинштейн (1876—1937) — скандально известный представитель петроградских финансовых кругов.

А.Г.: А в то время была мода, да?

С.Г.: Да, тогда полагалось иметь содержанок. У нас действительно довольно быстро... то есть на самом деле это произошло до меня. Татьяна Борисовна и Игорь Николаевич, Вертинские и Борис Андреевич Чижов по субботам всегда собирались то у Поповых, то у Вертинских, то (но реже, поскольку ему труднее было одному все это организовывать) у Бориса Александровича. И это называлось «субботники». Ничего об этом я не знал. Просто мы подружились с Поповыми. И однажды — это довольно часто так бывает — пришли в субботу, [были] приглашены. И там была Марья Андреевна Фокина, Николай Сергеевич и Борис Александрович. Это было довольно-таки странно, потому что целых трое гостей, да еще нас двое — пятеро, там довольно трудно было бы в этой загроможденной комнате поместиться. Как всегда, да, господа, ну, выпили бутылочку водки с кильками, с крутыми яйцами, с какими-то, с маринованным чесноком. Потом выпили чаю из гжельских кружек, впрочем, как и у меня сейчас... Иногда в обиходе было замечательное серебро, в основном XVIII века, русское и европейское, и фаянсы тоже были коллекционные вполне: французские «воздушные шары» — это такая серия с воздушными шарами редких, редких ценных музейных фаянсов. И, конечно, замечательные серебряные чарки, которые букетом с....

А.Г.: С орнаментами?

С.Г.: Нет, какими орнаментами! Хорошие чарки, какие некогда делались, в XVIII веке с коронационными жетонами на донышках. Они были с такими коронационными жетонами. В общем, все было правильно. Посидели, выпили, поговорили. А потом, как всегда, чуть стесняясь, таким деликатным голосом Вертинские пригласили нас на следующую субботу к себе, чего никогда не было. И тут потихоньку выяснилось, ну, не потихоньку, а уже со второго раза, что эти «субботы» являются регулярными «субботниками». И вот мы с Томой прибавлены к этим пяти человекам, которые регулярно встречаются. И после этого много лет эти «субботники» уже шли, а теперь уже иногда и у нас. Все были коллекционерами, но «коллекционных» разговоров было немного, в отличие [того, чем] пишет Дудаков-Рубинштейн: [якобы] они соревновались, кто кого обманул, кто что-то нашел, достал, сообразил и так далее. Здесь это не было связано с коллекционными страстями, скорее было связано с какими-то спектаклями, концертами, книжками. Это же еще было время «устного предания», когда вся история русской культуры существовала только в устной форме. И поскольку я этим интересовался, занимался, и у меня были какие-то родственники, мне уже было что рассказать, но и, конечно, я массу слышал всяких замечательных историй от всех остальных. И надо сказать, что, по-видимому, их очень запугивали, когда меня арестовали. То есть к Поповым просто приставили майора милиции, который, конечно, рассказывал — на милицейском языке это называется как я сейчас «потеху» и как я буду обо всех всё рассказывать и так далее, а я все знал о Поповых и плюс к этому массу обо всех других... И даже ко времени суда было неясно, как это будет и что это будет. Я помню, как прокурорша набросилась на Игоря Николаевича, у которого был какой-то понурый вид. Не знаю, видимо все-таки запугали и его, и Татьяну Борисовну очень. Они действительно не помогли Томе, в отличие от Вертинских.

” Но прокурорша начала говорить: «Вы посмотрите, какие у Григорьянца разные вещи: и то, и то, и то, и то, и то. Разве так бывает у коллекционеров? Ведь это ж не коллекция! У него, наверное, нет никакого вкуса». И вдруг Игорь Николаевич просто вспыхнул и сказал: «У Сергея Ивановича изысканный вкус!»

Мне приятно это было услышать. А Николай Сергеевич, в конце концов, занимавший серьезное место —

до этого он был директором Ясной Поляны, а в это время работал не знаю кем, но старшим научным сотрудником в Институте мировой литературы. Ничего, надо сказать, ни от Николая Сергеевича, ни от Татьяны Борисовны для себя полезного ни судья, ни прокурор вытащить не смогли. Абсолютно.

То, о чем пишет Эмма Григорьевна Герштейн, что все жили «кружками». И у нас был тоже такой «кружок». У Поповых было много других знакомых, и у меня были всякие знакомые, и у Вертинских, конечно, и у всех, но никаких посторонних... никто, никто никогда не допускался и не приглашался. И сами мы никогда в субботу в другое место никуда не ходили.

А.Г.: С Сановичем вы были знакомы более, так сказать, отдаленно?

С.Г.: Нет. Ну, конечно, мы и с ним и с Соломоном Абрамовичем Шустером... мы менялись...

А.Г.: А с Зильберштейном?

С.Г.: Зильберштейн был все-таки много старше меня, понимаете. Мы, по-моему, однажды с ним поменялись даже на что-то. Нет, но я был у него несколько раз. Понимаете, мне не было интересно: на стенах у него висели громадные и с моей точки зрения довольно противные Репины. У Зильберштейна же, понимаете, на самом деле хорошая, как это определила Татьяна Борисовна, альбомная коллекция: у него по-настоящему ценная была графика. Но ее висело довольно мало. А живопись у него была, скажем так, третьестепенная: был один голландский натюрморт с цветами начала XVIII века. Ну, пара мелких картинок были приличных, остальное было, в общем...

А.Г.: А с такими молодыми искусствоведами как Джон Болт как вы познакомились?

С.Г.: Джон Болт был просто моим соседом по Университету, во-первых: он же был стажером в Университете. И, во-вторых, я не помню уже кто, но... Вообще-то все эти стажеры привозили мне книжки (*Смеется*)...

А.Г.: Как и его жена, наверняка, нет?

С.Г.: Нет, жены его я не знал. Я ее вообще ни разу не видел. Тогда он, я думаю, не был женат, это был 67-ой год. Он привез мне какие-то книжки. Этим в основном активно этим занимался человек по фамилии Сионский. Это был сотрудник «Русской мысли» и одновременно член НТС*. И год, кстати говоря, прозанимавшийся в Политехническом институте перед самой революцией у моего деда. Но тем не менее, у них был, по-видимому, фонд эмигрантской литературы. И он довольно много мне посылал книг, с одной стороны, а то, что не проходило по почте, пытался передавать с оказией. Это иногда были итальянцы, иногда французы. По-видимому, это делалось через отделения НТС. И Джон привез мне какие-то книжки, потом начал показывать купленные им рисунки тушью, один из которых повторял автопортрет этого английского художника, иллюстрировавшего Оскара Уайльда...

* Народно-трудовой союз — эмигрантская организация.

А.Г.: Обри Бердслей?

С.Г.: Да, Бердслей. Обсуждал со мной вопрос о том... Я в это время занимался Андреем Белым, он занимался, кстати говоря, Блоком — где-то у меня есть рукопись его рассказа о Блоке, его статьи о Блоке.

А.Г.: Сергей Иванович, у нас, кажется, обе карты заполнены.

С.Г.: Ну, и очень хорошо. И слава богу!